

Воспоминания

Л. Л. КИСЕЛЕВ

КАКИМ Я ПОМНЮ ОТЦА

От редакции

В марте 2004 года исполняется 110 лет со дня рождения Льва Александровича Зильбера (1894–1966), академика медицины, почетного пожизненного члена Нью-Йоркской академии наук, лауреата Государственных премий СССР. Но не титулами и званиями этот человек вошел в историю отечественной и мировой науки. Получив биологическое и медицинское образование в двух университетах — Петроградском и Московском, — он создал отечественную школу медицинских вирусологов, открыл вирус и переносчика клещевого энцефалита, обнаружил наследственную трансформацию у бактерий, выявил специфические опухолевые антигены, создал вирусно-генетическую концепцию возникновения злокачественных опухолей, спас тысячи людей от чумы, холеры, оспы, брюшного и сыпного тифа, пеллагры, энцефалита. Это единственный в истории биологии и медицины XX века человек, совместивший в себе и внесший крупный вклад в целую серию наук — микробиологию, иммунологию, вирусологию, онкологию, эпидемиологию. В XIX веке такими учеными были Л. Пастер и И. Мечников. Об этом человеке, о котором еще при жизни ходили легенды, рассказывает его старший сын, Лев Львович Киселев, академик Российской и Европейской академий, молекулярный биолог и биохимик.

В сокращенном виде воспоминания публиковались в «Вестнике Псковского вольного университета», 1995. Т. 2, № 4–6.

Мне очень крупно повезло в жизни, когда волею судеб моими родителями оказались Лев Александрович Зильбер и Валерия Петровна Киселева. Их давно нет в живых, но с каждым годом я все отчетливее и глубже понимаю, что это был неоценимый подарок и счастье на всю прошедшую и оставшуюся жизнь.

Перед войной мне было пять лет, я почти не помню отца, мне кажется, по двум обстоятельствам. Во-первых, он был одним из тех миллионов наших сограждан, кто был насильственно изъят из нормальной жизни и лишен свободы в период 1937–1939 гг., а затем с 1940 по 1944 гг., и поэтому у меня было просто очень мало времени для того, чтобы запомнить отца в этот период. Во-вторых, военные годы были столь тяжелыми и так врезались в память, что все предшествующее оказалось как бы стертым, затушеванным. Тем не менее одна маленькая сценка довоенного периода все-таки вспоминается. Отец лежит на диване, я сижу на нем верхом, держа в руках газету, и пытаюсь читать по слогам. Было это, по-видимому, в конце 1939 г. или в начале 1940 г. Отцу быстро надоедают мои попытки складывать из слогов слова, он выхватывает у меня газету и начинает меня щекотать. Нам это занятие доставляет большое удовольствие, и к попыткам чтения я больше не возвращаюсь.



Петербургские студенты. Слева направо: Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Август Летаев, 1913 г.

Я хорошо помню момент ареста отца в 1940 г. Это было в той же самой квартире, в которой я живу и сейчас. Рано утром, наверное, часов в пять утра, пришли три человека. Разговоров было очень мало. Помню, что отец поцеловал меня в лоб, прижал к себе, потом легонько оттолкнул и посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. Мне тогда показалось, что он был спокоен, во всяком случае он не делал резких движений, не повышал голоса, внешне казалось, что ничего особенного не происходит. Отчетливо помню, что он был бледен как мел, и глаза как-то странно горели или светились. То, что происходит что-то ужасное, я понимал не по отцу, а по поведению мамы, которая ждала второго ребенка.

Когда началась война, спасаясь от немецких бомбежек, мама сумела перевезти детей и нашу няню под Москву, на дачу друзей недалеко от города Истра по Волоколамскому шоссе. Обстоятельства сложились таким образом, когда немецкие войска приблизились к Москве, все отходы к столице были перекрыты и вернуться домой в Москву оказалось невозможным. В этот момент совершенно случайно вместе с нами была сестра мамы Анастасия. Мы



*Л. А. Зильбер — гимназист в форме
Омского пехотного полка, где во Пскове
служил его отец, 1912 г.*

оказались на временно оккупированной территории, а затем, когда немецкие войска начали отступать, они насильственно увлекли нас за собой, и в конце концов мы попали в Германию, где в мае 1945 г. в городе Хемнице нас всех четверых освободили части Красной Армии.

После того, как пришло освобождение, мама получила возможность написать домой почтовую открытку, что мы живы и ждем возвращения на родину. Так как мы ничего не знали о судьбе отца, открытка была адресована моей бабушке Софье Арсеньевне, маминой маме, жившей в Москве. Как потом рассказывала баба Соня, открытка пришла вечером, и она бросилась ко Льву Александровичу, который был освобожден в марте 1944 г., накануне своего пятидесятилетия, и с этого момента делал все возможное и невозможное, чтобы выяснить судьбу своей пропавшей семьи. Однако все военные и гражданские власти, к которым он обращался, отвечали, что никаких сведений нет и что жена, сестра жены и двое его детей про-

пали без вести. Поэтому, когда он увидел почерк мамы на открытке, это был для него сильнейший шок, правда, к счастью, радостный.

Сжимая полученную открытку в руке, он как был в костюме, не переодеваясь и не взяв ничего с собой, бросился в Наркомат здравоохранения, к наркому Георгию Андреевичу Митереву, который был полностью в курсе того, что у профессора Зильбера пропала без вести семья. Дело происходило в июле 1945 года, потому что открытка, отправленная из Германии в конце мая, достигла Москвы через полтора месяца. В то время правительственные учреждения работали и по ночам, и отцу удалось застать наркома поздним вечером в рабочем кабинете. По правилам того времени нельзя было сообщить в открытке обратный адрес, и там стоял только номер полевой почты. Митерев, узнав в чем дело, сразу же направил открытку дешифровщику, который буквально через несколько минут сказал, что семья находится в пересыльном лагере недалеко от Бреслау (ныне город Вроцлав в Польше). Отец немедленно предложил командировать его в Германию. Как потом рассказывал отец, Георгий Андреевич растерялся на какой-то момент, однако быстро нашел блистательный выход из положения. Он достал из сейфа особый бланк, внизу ко-

торого стояла факсимильная подпись И. Сталина. Это был особый мандат, по нему Л.А. получал право и ему вменялось в обязанность инспектировать санитарное состояние советских войск, расположенных на территории Германии, занятой нашими войсками. В этом же документе говорилось, что он имеет право беспрепятственного пересечения всех водных рубежей между Москвой и Берлином и что все военнослужащие обязаны оказывать обладателю этого мандата полное содействие и выполнять его распоряжения и указания. Это была могучая бумага, можно только восхищаться находчивостью наркома и его смелостью, если учесть, что отец отнюдь не был санитарным врачом, не был военнослужащим, и прошло лишь немногим более года после того, как его выпустили из тюрьмы.

С драгоценным мандатом в нагрудном кармане пиджака Лев Александрович, не заезжая домой, на машине наркома приехал на центральный московский аэродром (там, где сейчас находится аэровокзал) и, потрясая мандатом, потребовал у ответственных военных лиц немедленной отправки в Берлин. Естественно, документ произвел весьма сильное впечатление, военные брали под козырек, и первым же самолетом Л.А. вылетел в Берлин. С момента получения открытки не прошло еще и суток, а он уже в Берлине пришел в Главное санитарное управление Красной Армии, где оказался в объятиях генерала Знаменского, одного из своих многочисленных учеников довоенного периода по Центральному институту усовершенствования врачей, где Л.А. до ареста читал лекции и заведовал кафедрой микробиологии. Генерал, прочитав грозную бумагу, тоже взял под козырек. Однако вскоре все разъяснилось, когда отец рассказал историю исчезновения и счастливого воскрешения своей семьи. Генерал распорядился выделить для профессора Зильбера любой автотранспорт, какой он потребует, вместе с шофером, вооруженным автоматом с большим количеством патронов. От Берлина до Бреслау около 800 километров, но значительная часть дороги идет по скоростной трассе, автобану, как говорят немцы. Хотя шоссе в ряде мест было повреждено из-за военных действий, тем не менее они двигались очень быстро, практически не останавливаясь. Отец великолепно водил машину, он научился этому во время ликвидации вспышки оспы в Казахстане, когда он имел возможность гонять на легковушке в любом направлении по казахским степям, где, как легко догадаться, движение не стесняли дорожные знаки. Отец и шофер примерно каждые два часа сменяли друг друга за рулем. По пути они ненадолго остановились, так как дорогу переходило стадо коров, несколько одичавших от войны. Шоферу удалось заарканить одну из коров и надоить парного молока, которое они и поделили между собой.

В открытке, отправленной домой, мама писала о том, что она работает по специальности, и поэтому отец, добравшись до территории пересыльного лагеря, где мы все находились, решил искать какое-нибудь медицинское учреждение, потому что перед войной мама работала в микробиологическом институте лаборантом. Первая ее специальность — искусствоведение, в частности, древнерусское искусство вряд ли могло ей пригодиться в тамошних условиях.

Оказалось, что в лагере есть аптека. Отец спросил единственного челове-

ка, которого там обнаружил, — молодую девушку: «Вы случайно не знаете Валерию Петровну Киселеву?» — «Конечно, знаю. Это моя заведующая». — Девушка с удивлением и нескрываемым интересом разглядывала посетителя. — «А где она сейчас? Я могу ее видеть?» — «Нет, она сегодня дома, ей разрешили не работать, потому что у нее больны дети». — «А вы не могли бы меня к ней проводить или рассказать, как ее найти?» — «А кем вы ей приходите?» — «Я ее муж». — «Муж?!» — «Я прилетел вчера из Москвы, чтобы забрать семью домой». — «Из Москвы?!»

После этого быстрого диалога аптека была заперта, и Галя (так звали мамину помощницу) решительно направилась к одному из корпусов, где нас разместили. По дороге к ним подходили люди, неведомым образом узнавшие, что в лагере появился человек, только что прилетевший из Москвы, причем не по военным делам, а для того, чтобы увезти с собой вновь обретенную семью. Это было необыкновенно, такого еще не было, и люди, истосковавшиеся по родине, вплотную окружили отца, стараясь хотя бы просто к нему прикоснуться, как-то выразить ему свою симпатию, попытаться что-то спросить про Москву, про родину. Отец, отвечая на ходу, почти бежал, и наконец Галя и он оказались у дверей той маленькой комнатенки, которая была выделена нам, четверым, чтобы изолировать остальное население лагеря от двух детей, больных заразным брюшным тифом. Мой брат уже начинал поправляться, а я еще был в весьма неважном виде и лежал в кровати рядом с окном. Я не помню, что я делал в тот момент, когда я услышал голос и короткое: «Лева!» Он был обращен в сторону двери, хотя я лежал в противоположной стороне, у окна. Потом моя тетя, вспоминая эту минуту, говорила мне, что тогда она подумала: «Наверное, Валеся от переутомления, бессонных ночей и бесконечных несчастий, обрушившихся на нас за все эти годы, помутилась в рассудке: иначе, как можно звать Леву, крича в прямо противоположную сторону?» Я повернул голову на голос, понял, что это крикнула мама, и перевел взгляд к двери, потому что она бросилась именно туда. В дверном проеме стоял отец. У него уже не было сил сделать еще шаг вперед, и я помню очень долгое мгновение, когда он, широкоплечий, прямой, выше среднего роста, закрывал собой просвет двери. По его щекам текли слезы. Ни раньше, ни потом я никогда не видел плачущего отца. За ним, молча, плотно прижавшись друг к другу, вытягивая шеи, становясь на цыпочки, стояли люди, наблюдая эту сцену. С тех пор прошло больше полувека, но и сейчас я помню эту минуту до малейших деталей. А вот дальше все перемешалось. В комнату входили какие-то люди, все говорили сразу, не слушая друг друга. Отец не видел свою семью пять лет, ничего не зная о нашей судьбе. Он не видел своего младшего сына, Федю, который родился, когда он был в тюрьме. Эти пять летместили самую страшную из войн, сталинские застенки, миллионы погубленных жизней и сломанных судеб. Поэтому встречу моих родителей не мог бы описать никто, как и передать всю безумную, нечеловеческую радость, счастье, которые им подарила судьба и их вера друг в друга. Этот миг невыносимой радости был оплачен годами муки и безысходного горя.

После того, как эти минуты сумасшедшей радости как-то схлынули, и нужно было думать о том, как жить дальше и что делать, отец предложил немед-



Слева направо: Ю. Н. Тынянов, Л. А. Зильбер, В. А. Каверин, 1940 г.

ленно погрузить все семейство в машину, на которой они приехали (это была санитарная машина, на ней немцы возили больных, и совершенно непостижимо, почему отец, не зная о нашей болезни, поехал в лагерь именно на санитарке — ведь у него было право выбора любого средства передвижения). Однако два обстоятельства этому препятствовали. Во-первых, нужно было получить согласие врачей, которые лечили меня и Федю, а во-вторых, оформить документы, дававшие право возвращения на родину. Когда отец спросил врачей, они дружно и категорично высказались против нашего немедленного отъезда, сославшись на то, что мое состояние внушает тревогу, может быть кишечное кровотечение, а учитывая наше крайнее предшествующее истощение в немецком плену, это могло оказаться губительным. Один из врачей очень твердо и ясно сказал: «Лев Александрович! Неужели, только что чудом найдя свою семью, вы хотите ее потерять?» Отец, несмотря на свое трудно укротимое нетерпение, вынужден был согласиться. Со вторым делом обстояло, к счастью, намного проще. Отец пошел к коменданту лагеря (не знаю, может быть его должность называлась «начальник»). Майор Мгеладзе оказался типичным грузином, очень гостеприимным. Прежде чем обсуждать дела, майор критически оглядел фигуру профессора и напрямик спросил: «А деньги то у вас есть?» Отец с момента получения открытки и до этой минуты был в каком-то особом состоянии, в котором мыслям о деньгах не было места, поэтому такой простой вопрос застал его врасплох и он не нашелся что ответить. Тогда майор, выдвинув один из ящиков письменного стола, погрузил в него обе ру-

ки, — в ящике оказалось большое количество оккупационных марок, — и, подняв обе руки с зажатыми купюрами в воздух, он с силой опустил их в карманы отцовского пиджака. Смятенный Лев Александрович не нашел ничего лучшего, как пытаться эти деньги пересчитать, бормоча, что он скоро вернет долг, что вызвало долгий добродушный смех майора: «Берите, берите, профессор, не стесняйтесь. У меня их много, да и нужны-то они мне, прямо скажем, не очень... А что вы домой-то с собой повезете?» — На этот вполне житейский вопрос профессор тоже не нашелся что ответить. Тогда майор подошел к подоконнику своего кабинета, где стоял радиоприемник «Телефункен», и, взяв его двумя руками, протянул отцу. — «Да берите же, трофейный, домой отвезете, передачи будете слушать — детишкам радость». Наконец дело дошло до нашей судьбы. «Никаких претензий к вашей семье у нас нет. профессор», — сказал майор уже вполне серьезно, — «так что с нашей стороны никаких препятствий к вашему возвращению домой всей семьей у нас нет. Будем выправлять документы». Через несколько дней, когда второй врачебный консилиум, созданный по настоянию отца, наконец снял запрет с нашего отъезда, и мы вместе с подаренным «Телефункеном» и прочим мелким домашним скарбом погрузились в санитарку. Были приняты все возможные меры предосторожности. Я ехал, лежа на двух матрацах, причем наготове были шприцы со стерильным желатином на тот случай, если в дороге от тряски начнутся неприятности. Провожал нас, наверное, весь лагерь. Люди плакали, что-то говорили, обнимались, оставляли адреса, просили позвонить родным, передавали письма, записки, а некоторые просто молча смотрели, не говоря ни слова. Теперь я понимаю: они думали о том, что их ждет на давно покинутой и столь же желанной родине. Может быть, они думали и о том, что ждет нас дома.

До Берлина мы добрались благополучно, желатин не понадобился, а мой брат Федя был вполне бодр. Однако когда мы приехали в Берлин, медицина снова стала бурно протестовать против нашего немедленного перелета в Москву, и отцу пришлось подчиниться, тем более, что он должен был все-таки вспомнить о том, что написано в его грозном мандате, и помочь местным медикам. Действительно, кажется около десяти дней он где-то пропадал, инспектируя немецкие медицинские институты и учреждения, давая советы местным медикам, как избежать появления эпидемий в разбомбленном городе, где не работали водопровод и канализация в большинстве районов. Нас поставили на офицерское довольствие, а за двумя больными детьми выделили ухаживать пожилого солдата, украинца, у него было двое детей примерно нашего возраста. Он прошел всю войну и, наверное, считал каждый час, который отделял его от свидания с семьей. Обращался он с нами удивительно по-доброму, вероятно, он видел в нас своих детей. В один из дней, когда мы остались дома без взрослых, он притащил мне персик, не знаю как к нему попавший. Я, естественно, его немедленно уничтожил, а косточку аккуратно положил на стул рядом с кроватью. Когда вернулась мама и увидела косточку на стуле, последовал допрос и выяснилось, что я грубо нарушил врачебное предписание о диете. Но, как часто бывает в жизни, то, что сделано из добрых побуждений, вреда принести не может. Вскоре наше берлинское житье

подошло к концу, и мы вернулись в Москву. В ту самую квартиру, в которой мы не были более четырех лет, — всю войну.

Мой брат Федя родился, когда отца с нами не было. Но когда он его увидел, четырехлетний брат сказал: «Папа, ты знаешь, я тебя сразу узнал, но у тебя было какое-то странное лицо». Так я в девятилетнем, а брат — в четырехлетнем возрасте снова обрели отца и уже никогда не расставались с ним до его скоропостижной кончины 10 ноября 1966 г.

Я не могу сказать, что все последующие годы были безоблачными и счастливыми, хотя было много и радости, и удач, и большого счастья. Первые послевоенные годы стране было трудно, и нам было так же трудно, как и всем вокруг. Но эти трудности усугублялись еще и тем, что отец ушел с головой в новую для него область, чрезвычайно трудную для изучения, малоразработанную, ту самую область, которая после его трудов получила название «иммунология рака». Исходя из своей теории возникновения злокачественных опухолей, придуманной и сформулированной в тюремной одиночке, он ожидал, что в опухолях удастся найти особые вещества — белки, — они будут свидетельствовать о том, что эти опухоли вызваны особым опухолеродным вирусом. Однако в то время, в конце 40-х гг., экспериментальная техника была несовершенной, и ни ему, ни его сотрудникам не удавалось найти в опухолях ни опухолеродных вирусов, ни их белков. Поэтому в семье складывалась довольно напряженная атмосфера, так как отец остро переживал неудачи в лаборатории, и это отражалось на всех домашних, в наибольшей степени, конечно, на маме. Обстановка в стране для научного творчества была малоблагоприятной: Лысенко громил генетику, что закончилось, как все знают, постыдной Августовской сессией ВАСХНИЛ 1948 года. Несколько позже по образцу «учения» Лысенко столь же непререкаемым и непогрешимым в физиологии и медицине было объявлено павловское учение, хотя наш великий ученый Иван Петрович Павлов ни малейшего отношения к так называемому «павловскому учению» не имел, и его именем громили его наиболее талантливых учеников. На горизонте была также трагикомическая фигура Ольги Борисовны Лепешинской, которая проповедовала возникновение клеток не из других клеток, как уже давно было установлено опытом всей мировой науки, а из «живого вещества». Развертывалась борьба с космополитизмом в науке, и при написании научных статей требовали, чтобы в списках цитированной литературы работ на русском языке было обязательно больше, чем иностранных. Образцовой считалась статья, где зарубежных авторов или только ругали, или вообще не упоминали. Борьба с космополитизмом носила всеобщий характер и в медицине проявлялась в самой крайней форме. Свирепствовал государственный антисемитизм.

Несмотря на все эти отнюдь не безразличные для ученого обстоятельства, отцу в 1949 г. вместе со своими близкими учениками и сотрудниками удалось сделать замечательное наблюдение: они открыли с помощью специально для этой цели разработанной высокочувствительной иммунологической реакции существование в опухолях особых белков, которые получили название специфических антигенов опухоли. Именно это открытие легло в основу того направления исследований, которое сейчас занимает большое место в им-

мунологии и онкологии. Сейчас на основе достижений в этой области биологии и медицины созданы новейшие методы диагностики многих злокачественных опухолей, это уже спасло многие и многие жизни. И мы не можем не помнить о том, что у самых истоков иммунологии рака стоял наш соотечественник.

Когда этот результат был окончательно достигнут после нескольких лет кааторжного труда, десятков и сотен загубленных опытов, бессонных ночей, радости всей лаборатории не было предела. Для меня это был урок на всю последующую жизнь, урок того, что такое неудачи в науке, как трудно их переносить, и вместе с тем урок того, что вера в правильность идеи, огромное трудолюбие, единство со своими сподвижниками могут свернуть горы и сделать невероятное реальностью.

Талантливый ученик Льва Александровича, ныне действительный член Российской академии наук Г. И. Абелев и его коллеги с блеском развивают это направление в отечественной науке. За открытие, сделанное в лаборатории Льва Александровича, Г. И. Абелев уже после смерти Зильбера был удостоен Государственной премии СССР.

Я рано уходил в школу, и утром с отцом мы виделись нечасто, а когда я возвращался, он еще был в институте. Вечером, после обеда, который у нас был обычно часов в шесть, отец часто продолжал работать за письменным столом, поэтому и в вечерние часы времени для общения было немного, тем более что я тоже был занят уроками. Я не могу сказать, что отец занимался моим воспитанием в общепринятом значении этого слова, он не читал мне нотаций, чрезвычайно редко давал оценку моим поступкам, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Я думаю, что главным воспитателем была его собственная жизнь, пример этой жизни, и, наверное, ничего большего было не нужно. Меня поражало тогда и, пожалуй, еще больше поражает сейчас, с какой полнотой и страстью он отдавался любому делу, которым был в данный момент поглощен. Если он ставил опыты, то все сотрудники были мобилизованы на то, чтобы опыты были максимально тщательно выполнены, глубоко продуманы и вместе с тем сделаны как можно быстрее. Если он писал книги (а ему принадлежат фундаментальные монографии в области вирусологии, иммунологии, онкологии, они были уникальны для того времени и, в общем, до сих пор не потеряли своего значения), то в кабинете всюду были разложены стопки оттисков, груды исписанных страниц, в кабинет нельзя было входить и отрывать его от дела. Тот, кто пытался ему мешать, вольно или невольно, подвергал себя большой опасности всплеска его гнева и бурного негодования. Но столь же самозабвенно, столь же безоглядно он погружался в стихию веселья, когда было празднование Нового года или дня его рождения — 28 марта. Тогда не произносилось ни слова о науке, он писал шуточные стихи, безудержно танцевал со всеми окружавшими его дамами в возрасте от 16 до 70 лет, пел, пил, никогда не хмелея, а становясь только более веселым и живым. Невозможно было себе представить, что еще день-два тому назад этот человек сидел, закрывшись в кабинете, никого к себе не пускал, не отвечал на телефонные звонки и жил так, как будто у него нет жены и детей, и кроме науки его в жизни никогда и ничто не интересовало и не будет интересовать. Быстрота



Л. А. Зильбер. ЦИЭМ, 1949 г.

и полнота этих переходов для тех, кто его хорошо знал, были поразительны, и к этому было нелегко привыкнуть. Постепенно мы все поняли особенности его характера и научились с ними считаться.

Все, кто работал со Львом Александровичем в лаборатории, говорили об его изобретательности, изворотливости при постановке опытов, даже в достаточно стандартной ситуации он стремился внести что-то необычное, свое. То же самое происходило, когда он развлекал себя и окружающих. Его не привлекали обычные застолья, тосты, славословия, то, что можно условно назвать «рутиной веселья». Как я уже говорил, в доме были свои самые большие праздники. Зимой — Новый год и 28 марта (день рождения отца), а летом, на даче — 20 июня, день рождения мамы. Люди, которые встречали с нами Новый год и дни рождения в подавляющем своем большинстве не имели отношения к профессиональной деятельности отца, это не были биологи или медики, и, уж тем более, невозможно себе представить, чтобы в доме появился какой-нибудь «нужный» человек из разряда чиновной элиты. С кем же делил свой досуг Лев Александрович? При всем различии характеров, профессий, возрастов и других качеств всех этих людей объединяли их талантливость, нестандартность, доброта, подлинное умение веселиться. Это были и друзья его юности. На Новый год часто приезжал Август Андреевич Летавет, закадычный друг с псковских времен, и его жена Александра Евдокимовна. К самым давним и преданным друзьям относились Леонид Александрович

вич и Александра Иосифовна Корейши (дома их всегда называли в рифму «друзья старейшие Корейши»). Появлялся изредка большой друг псковской юности Борис Александрович Лепорский, обычно в связи с командировкой в Москву из Горького, где он работал. Но его приезды с Новым годом и днями рождения не совпадали. Общие праздники невозможно себе представить без друзей юности Валерии Петровны — Анны Ивановны Подгорной, жены крупного русского актера Владимира Афанасьевича Подгорного и матери безвременно скончавшегося яркого и интересного актера Малого театра, народного артиста России Никиты Подгорного. Анна Ивановна была женщиной не только доброй и красивой, но и безмерно добродушной, поэтому она была неперенным объектом бесконечного числа разных шуток и розыгрышей, которые она стоически сносила, встречая их всегда беззаботным смехом. Таковыми же близкими мамиными друзьями и друзьями всей нашей семьи были Павел Александрович Безсонов, профессор математики, и его жена Любовь Андреевна Пан, контральто, много лет певшая в театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В первые годы после своего появления в Москве бывал Святослав Теофилович Рихтер, однако, увы, его всемирная слава, бесконечные гастролы и концерты делали его появления все более редкими, хотя он очень нежно относился к моим родителям, и его экспромты за роялем — соло или в роли аккомпаниатора — были блистательны и незабываемы.

Отец Льва Александровича был военным музыкантом, дирижером полкового оркестра, и, как говорил отец, мой дед, которого я не знал, в жизни признавал только музыку и армию, все остальное как бы не существовало. Поэтому маленький Лева не только был окружен густой музыкальной атмосферой, но и подвергался в значительной мере насильственному обучению игре на скрипке. Эта скрипка цела и хранится в семье до сих пор. Несмотря на абсолютный слух и безусловную музыкальную одаренность, это насильственное музицирование отца не устраивало, и в конце концов, когда он стал студентом естественного факультета Петербургского университета, такое решение вызвало сильнейший гнев его отца, что привело к их многолетнему разрыву. Несмотря на все это, отец не только любил музыку, но и очень любил домашнее музицирование и пытался обучать игре на рояле брата и меня. В отличие от отца мы оба, увы, лишены музыкальных способностей, хотя любим слушать музыку и бывать на концертах, когда позволяет время.

Среди наших музыкальных гостей были и замечательные профессионалы, прежде всего, конечно, солистка Большого театра, замечательная певица и педагог, народная артистка России и лауреат многих премий Наталья Дмитриевна Шпиллер. Хотя я перечислил некоторые ее титулы, для моих родителей это был близкий друг Наташа, а для нас с братом с первых послевоенных лет до ее недавней кончины — тоже близкий друг — тетя Наташа. Она обладала могучим оперным сопрано и в квартире могла петь только вполголоса или, может быть, даже в четверть голоса, однако удовольствие все получали громадное. К музыкальному племени принадлежал и ее муж — выдающийся музыкант и несравненной доброты и обаяния человек — Святослав Николаевич Кнушевицкий. Конечно, он не приезжал к нам в гости с виолончелью, ее ча-

рующие звуки мы слушали в концертах, но его невероятная жизнерадостность, буквально лучащаяся доброта и несравненный юмор были для нас всегда желанны. Ранняя, безвременная кончина дяди Светика (так мы его всегда называли) была для всех нас огромным горем и невосполнимой утратой. Хотя к тому времени, о котором я рассказываю, Любовь Андреевна Пан уже не пела на оперной сцене, однако ее красивое контральто прекрасно сохранилось и также было неотъемлемой и дорогой частью вечерних музыкальных программ. Поющих непрофессионалов было много — это были и сам Лев Александрович, который, например, блистательно исполнял в дуэте с Павлом Александровичем «Гимн пенсионеров». Музыка была заимствована, а слова были написаны Павлом Александровичем. Припев подхватывали все, а исполнение заканчивалось бурным канканом, что было зримым и убедительным опровержением текста и самого названия этого великолепного сочинения. Прекрасно пела и соло, и в дуэте с Леонидом Александровичем Александра Иосифовна, обладательница мягкого меццо-сопрано. К тому же она еще прекрасно писала стихи.

К числу поющих относилась молодая и очень темпераментная актриса Малого театра Инна Ивенина, которая не только прекрасно пела, но и аккомпанировала себе на рояле. Нельзя не назвать Александра Павловича Авцына, академика медицины, неизменного участника этих веселий. Хотя его знакомство с папой возникло на профессиональной почве, однако, дружба основывалась на талантливости этих людей и их способности выйти далеко за рамки профессии: оба прекрасно разбирались в живописи, прекрасно писали стихи, нравились женщинам и умели по-настоящему ценить веселье и одаренность окружающих. Атмосфера была такой, что даже те, кто не обладал какими-то особыми талантами, поэтическими или музыкальными, тоже не оставались простыми зрителями или слушателями: они например, демонстрировали чудеса кулинарного искусства, как, скажем, Валерия Петровна, чьи пироги поистине получили мировую известность. К нам время от времени приезжали из-за рубежа друзья моих родителей, и среди прочих воспоминаний всегда звучали дифирамбы пирогам и пирожкам, которые пекла мама.

Мы с братом не пели, не плясали, что, кстати, блистательно делали почти все перечисленные действующие лица и, конечно, прежде всего Лев Александрович, отменный танцор и страстный любитель танцев. Однако мы отнюдь не сидели без дела: готовили реквизит к театральным действиям, писали лозунги, объявления, афиши, мне приходилось писать и стихи в том случае, когда муза оставляла папу и он зывал о помощи. Чаще всего это случалось тогда, когда гостей было очень много (а обычно так и было!), а до события оставались считанные часы. Федя был силен по технической части, и эти его таланты тоже использовали: что-нибудь приколотить, починить или срочно соорудить. Те, кто хорошо рисовал, выпускали совершенно замечательную домашнюю стенную газету, полную дружеских карикатур, невероятных фотомонтажей, эпиграмм и творческих находок, которые трудно уложить в какие-либо жанровые рамки.

Вспоминать об этом приятно и радостно, однако передать атмосферу этих вечеров очень трудно, потому что она вся была соткана из безудержного ве-



Слева направо: А. Сэбин, Л. А. Зильбер, Б. А. Лапин. Сухуми, 1965 г.

селья, доброжелательности, взаимной нежности и глубочайшей симпатии всех, кто там был, в первую очередь ко Льву Александровичу и, разумеется, друг к другу. И все-таки я сделаю слабую попытку рассказать о двух-трех эпизодах в надежде на то, что читатель по этим фрагментам как бы довообразит остальное. На одном из вечеров Лев Александрович и Павел Александрович изображали львов в цирке. Они ходили на четырех лапах, размахивали хвостами (воображаемыми), немислимым образом рычали друг на друга и на окружающих зрителей, демонстрируя огромную гамму львиных чувств. Каждому из львов было далеко за шестьдесят, однако они предавались этому занятию, пожалуй, даже не с юношеским, а с мальчишеским увлечением.

Над ними властвовала укротительница — Инна Ивенина с бичом в руках, направлявшая действия львов. В ту пору в Москве гремела укротительница тигров Ирина Бугримова, и этот сюжет, конечно, был навеян ее выступлениями в московском цирке. В отличие от своего прототипа, наша укротительница не только заставляла своих дрессированных питомцев прыгать через хлыст или степенно ходить по арене друг за дружкой, но и сама проделывала невозможные па, играла на рояле и пела. Номер имел невозможный успех. Он заканчивался тем, что львы переходили к прямохождению и начинали отчаянно бороться за право танцевать со своей дрессировщицей. Финалом был искрометный канкан втроем, где в центре была Инночка, а по сторонам — обезумевшие от восторга львы.

Я должен сказать, что, кроме этого трио, было еще одно действующее лицо — Леонид Александрович, на долю которого выпала роль львицы. Он был очень женственен, мягок, по очереди заигрывал с каждым из львов, возбуждая в них ревность. Львица издавала нежные теноровые звуки и очень смешно лежала на манеже (на полу в центре комнаты), мурлыча как кошка и обмахиваясь мнимым хвостом.

Другой эпизод относится к празднованию Нового 1966 года — последнего с отцом. Незадолго до него в одной из центральных газет появилась статья, в которой обсуждались педагогические проблемы; она называлась «Шалят мальчишки». Этот газетный опус, абсолютно ничем не примечательный, пробудил творческую фантазию Павла Александровича, и был разработан сюжет спектакля, в нем две роли школьников средних классов были поручены Августу Андреевичу и Льву Александровичу, а роль отца — моему брату Феде. Кроме того, в спектакле действовали директор школы, родители, одним словом, все присутствующие. По ходу спектакля выяснилось, что школьники весьма склонны к проказам. Оба они были в париках рыжего цвета, видимо, Анна Ивановна их добыла не вполне законным образом в гримерных Малого театра.

Федя приобрел усы и некоторые другие атрибуты более зрелого возраста. Самое замечательное заключалось в том, что все те воспитательные меры, которым он подвергался в обычной жизни, он перенес в ходе спектакля на их автора — собственного отца. Естественно, такое превращение создало необычайно сильный комический эффект, и все действующие лица с величайшим трудом удерживались оттого, чтобы не рассмеяться, что, конечно, категорически возбранялось режиссерами всей постановки. Надо сказать, что если роль солидного папаши давалась Феде с трудом, то в роли шалунов оба почтенных мужа науки были необычайно убедительны, и сквозь десятилетия буквально просвечивали псковские озорники-гимназисты.

Не нужно думать, что веселые проделки были приурочены только к большим праздничным встречам: и в обычной жизни Лев Александрович никогда не упускал случая, если представлялась возможность над кем-нибудь пошутить или разыграть. Помню один из таких микроэпизодов. На даче отец обычно занимался столярными, слесарными или другими работами — то, что в данный момент было нужно по хозяйству. Он хорошо знал мотор и часто в нем копался, если машина барахлила. В один из жарких летних дней он выкатил машину на участок и поместился под ней таким образом, что из-под ма-

шины торчали только ноги. В этот момент появилась хорошо одетая молодая дама, которая, не обнаружив никого вокруг, обратилась к торчащим из-под машины ногам со следующим вопросом: «Скажите, пожалуйста, это дача профессора Зильбера?» — «Да». — раздалось из-под машины. — «А он сейчас на даче?» — «Да». — «А я могла бы его видеть?» — «А какое у вас к нему дело?» — «Я корреспондент журнала, он мне назначил приехать к нему для беседы». — «Очень хорошо. Я вас к нему проведу».

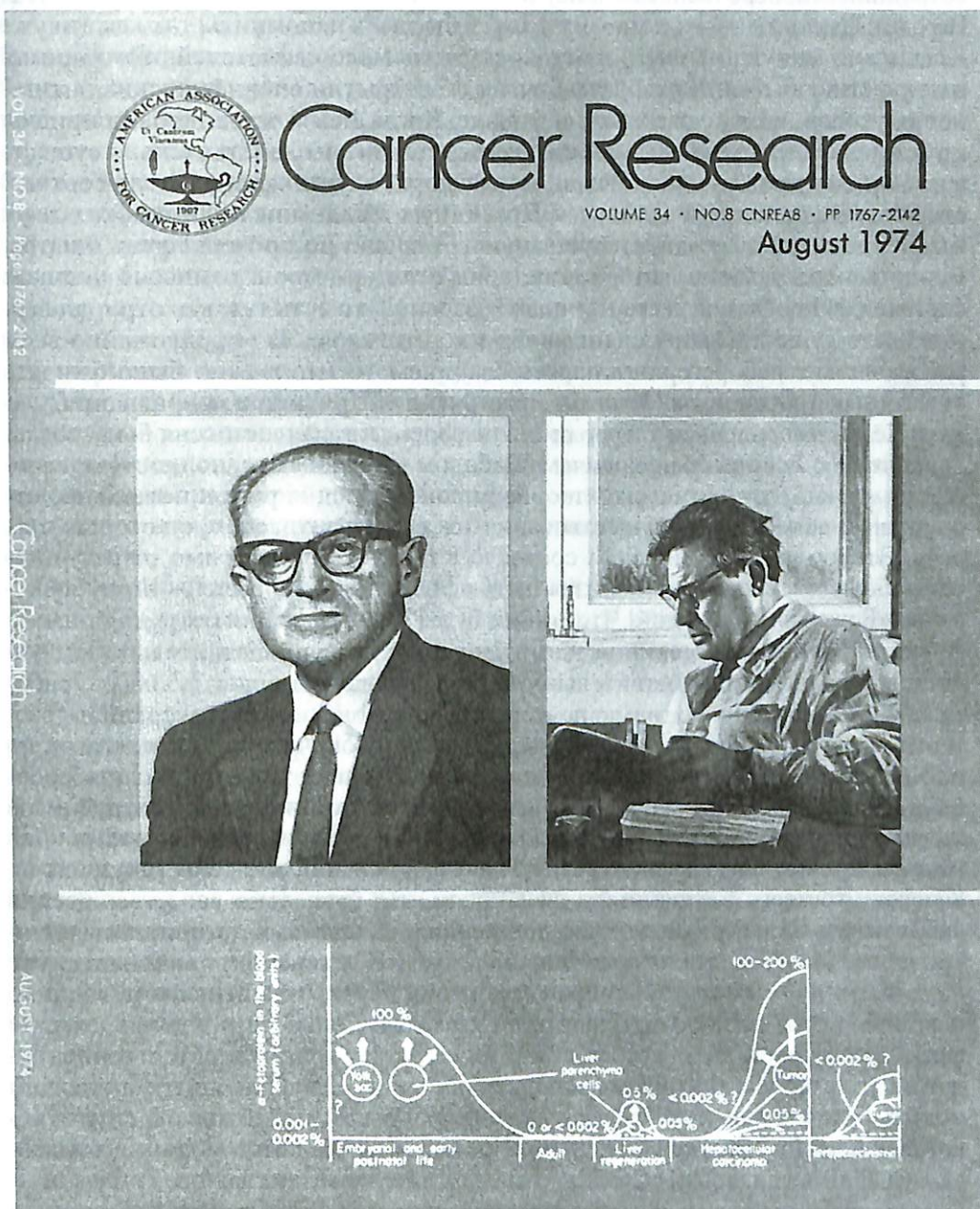
Лев Александрович выбрался из-под машины, его руки были по локоть покрыты машинным маслом, и, высоко держа их перед собой, он торжественно отправился к дому, ведя за собой корреспондентку. Он привел ее на веранду, усадил в кресло и сказал, что пойдет за профессором Зильбером. Молодая дама расположилась в кресле, достала блокнот и ручку. В это время Лев Александрович отмыл руки, снял свою сугубо рабочую одежду, которую мама называла непотребной, надел белую рубашку, элегантные брюки и выпорхнул к даме. Так как корреспондентка ни минуты не сомневалась в том, что она общалась с шофером профессора, то эта метаморфоза произвела на нее шоковое действие: она потеряла дар речи и только хлопала длинными накладными ресницами. Папа был чрезвычайно доволен произведенным эффектом и весело сказал: «Так о чем же мы будем с вами беседовать?»

С прессой у него вообще время от времени возникали недоразумения. Вспоминаю другой эпизод, случившийся уже в Москве. Однажды раздался звонок в дверь, отец был дома один и пошел открывать. На пороге стоял невысокого роста мужчина, который с характерным акцентом спросил: «Я имею честь беседовать с профессором Зильбером?» Папа рассеянно кивнул и в ответ услышал длинную фразу на незнакомом для него языке: «Простите, я вас не понял. Вы профессор Зильбер?» — «Да, это я».

Снова была произнесена быстрая и непонятная для отца фраза. Отец недоуменно развел руками. «Вы еврей?» — «Да». — «Так почему же вы не понимаете, когда я вас спрашиваю на иврите?» — «Потому что я его не знаю». — «Как же так? Неужели совсем не понимаете?!» — «Абсолютно», — весело ответил отец. Отец действительно не был связан с еврейской культурой ни по языку, ни по знанию обычаев, ни по характерным чертам характера. Его семья жила в русском окружении, хотя, как рассказывал мне отец, его родители знали идиш.

Корреспондент был очень разочарован и назвал отца «ненастоящим евреем». Конечно, эта история была очень красочно рассказана им многим друзьям, что вызвало взрыв веселья, и потом в дружеском кругу отца любили поддразнивать «ненастоящим евреем».

Вообще, как мне кажется, отец плохо воспринимал все, что люди относят к специфическим национальным проблемам и чувствам. Он делил людей на порядочных и подлецов, на бездарей и талантов, на красивых и некрасивых, но ему просто не приходило в голову, что могут быть какие-нибудь другие градации, например, национальные. Поэтому, когда я время от времени слышу о каких-то уродствах, вроде национализма, шовинизма, антисемитизма или еще чего-нибудь в этом роде, я всегда вспоминаю отца, для которого таких вещей просто не могло существовать.



Обложка журнала «Cancer Research» с иллюстрацией открытия
раково-эмбрионального белка альфа-фетопротейна (AFP).

Слева — Л. А. Зильбер, справа — Г. И. Абелев

Я не собираюсь здесь рассказывать об открытиях, сделанных отцом и его сотрудниками, перечислять его научные заслуги: пусть об этом пишут другие. Но один факт из многих и многих я хотел бы здесь напомнить, так как это уже дела давно минувших дней, и осталось очень мало свидетелей этого примечательного события. Я уже рассказывал об открытии специфических антигенов опухолей, но я не рассказал о финале. Когда Лев Александрович пришел к убеждению, что эти самые специфические антигены действительно существуют, он, вопреки мнению большинства своих сотрудников, написал соответствующую докладную записку в Президиум Академии медицинских наук СССР, где просил создать специальную комиссию по проверке этих опытов. Единственное условие, которое поставил отец, — чтобы комиссия целиком состояла из противников его научных воззрений, то есть тех, кто отрицал возможность существования специфических антигенов. Это предложение всем работавшим в лаборатории казалось безумием, — что можно было ожидать от научных противников? Конечно, жесточайшей критики и непризнания. Однако Лев Александрович твердо стоял на своем, и такая комиссия была создана во главе с Леоном Манусовичем Шабалом — человеком, полностью не согласным с вирусогенетической теорией происхождения рака и полностью отрицавшим возможность существования тех самых антигенов, о которых шла речь. Второе условие Зильбера состояло в том, что, независимо от результатов работы комиссии, они должны быть официально оформлены и опубликованы. «Боже мой, боже мой! Что с нами будет?!» — шептали сотрудники Льва Александровича за его спиной. Комиссия, состоявшая действительно из лучших специалистов и действительно не разделявшая взглядов Зильбера, работала три месяца. Они не только повторяли в зашифрованном виде все опыты, которые были раньше поставлены Львом Александровичем и его коллегами, но и ставили новые, более суровые по своей аранжировке, на которые зильберовцы не решались. Проверка велась таким образом, что ни один из сотрудников ни умышленно, ни случайно никак не мог повлиять на ее результаты. Лев Александрович был зесел, хотя скрытое напряжение все-таки ощущалось. К исходу третьего месяца стало очевидным, что буквально все утверждения лаборатории Зильбера полностью подтвердились опытами авторитетных контролеров. И здесь стало понятно, почему Лев Александрович настаивал на публикации и почему он собрал всех своих научных противников воедино и заставил себя проверять. Стало ясно, что если Зильбера подтверждают, да еще в письменном виде, несогласные, то уж его сторонники, естественно, будут на его стороне. И столь же ясно, что после такой публикации оппонентам сказать будет уже нечего. Результаты проверки были опубликованы спустя некоторое время в официальном органе Президиума Академии медицинских наук СССР «Вестнике АМН СССР». С тех пор в науке возникла новая область — иммунология рака, а ее начало, драматическое и бурное, только что прошло перед вашими глазами.

Заканчивая, я хотел бы сказать о том, что было главным, определяющим в подходе Льва Александровича в науке, в научном кредо. Уникальность его научного облика состояла в том, на мой взгляд, что в нем неразрывно и естественно сочетались два свойства, два качества, которые у подавляющего

большинства исследователей никогда не совмещаются в одном лице. Это трезвость, острая наблюдательность, аналитический ум, сочетающийся с виртуозным экспериментальным искусством, огромным трудолюбием, работоспособностью и фанатическим упрямством. Вместе с тем он был способен к безудержному полету фантазии, способен отрываться от твердо установленных фактов, от земли, смотреть далеко вперед, вторгаясь в области, где строгих научных данных просто не существовало. И в этой своей ипостаси он был смел до безрассудства, не признавал авторитетов и безоглядно бросался в такие сферы, где, как он сам любил говорить, «сам черт ногу сломит». Чем труднее и неразрешимее была проблема, тем охотнее и яростнее он ее атаковал, чем больше его отговаривали от занятия той или иной областью науки, тем стремительнее он в нее вторгался. Он прожил в науке четыре жизни и переменил четыре специальности — начал как бактериолог и микробиолог, достиг вершин в иммунологии и вирусологии, стал высокопрофессиональным онкологом и биохимиком. Только внезапная смерть не позволила ему успеть стать еще и клеточным и молекулярным биологом: в последние годы жизни он настойчиво овладевал этими молодыми тогда науками и считал, что решение проблемы рака придет именно через эти новые подходы. Сейчас мы знаем, что это случилось именно так, как предвидел и предчувствовал Лев Александрович.

Среди множества уроков, которым учит судьба и вся жизнь Льва Александровича, нельзя не вспомнить о его вере в людей, неизбывном оптимизме, невосприимчивости (по крайней мере, внешней) к бесконечным уколам и ударам судьбы. Он был выдвинут на академическую премию им. И. И. Мечникова и на Золотую медаль Мечникова сразу же после учреждения этих научных наград правительством в 1946 г. Одна из причин неполучения премии и медали — резко отрицательный отзыв видного ученого, ученика Зильбера. В 1962 г. Л. Зильбер и Г. Абелев (ближайший ученик и продолжатель дела Л. Зильбера, выдающийся онкоиммунолог и иммунохимик) были выдвинуты на Ленинскую премию за монографию «Вирусология и иммунология рака». Премию они не получили, хотя значение этой книги в истории онкологии и вирусологии, а также описанные в ней открытия, безусловно, отвечали высшим мировым стандартам. В 1960 г. Зильбера выдвигают в действительные члены Академии наук СССР, но академиком не избирают. К 70-летию его представляют к присуждению высшей для гражданских лиц в стране награды — звания Героя Социалистического Труда, но вместо этого награждают орденом Трудового Красного Знамени. Два директора института, где работал с 1939 по 1966 гг. Зильбер, — С. Муромцев и О. Бароян — портят ему жизнь, мешают заниматься наукой. Его приглашают на Cold Spring Harbor Symposium с докладом о его открытии (патогенность вируса птиц для млекопитающих, т.е. преодоление онкогенным вирусом видового барьера), — но его не выпускают из страны. Организаторы симпозиума, вопреки всем правилам, печатают его доклад в трудах симпозиума, хотя он там и не присутствовал.

Казалось бы, этот поток непонимания, зависти, ревности должен был сказаться на характере Зильбера, его поведении, его научном творчестве.

Да, каждый такой «укол», конечно, его ранит, не может не ранить. Но он никогда не жалуется, никогда не подает виду. Его реакция — работать еще интенсивнее, еще больше, еще неистовее и ... радоваться жизни. Он никогда не говорит об этом в семье (мы узнаем многое из «того» или случайно, или от сотрудников, или вообще спустя много лет после его смерти, разбирая документы в архивах), чтобы не огорчать близких. От любых превратностей судьбы он лечился работой (в лаборатории или за письменным столом, писал ранним утром, до ухода в институт, свои книги, ставшие на долгие годы настольными для иммунологов, вирусологов и онкологов), общением с друзьями в домашнем кругу. Он был идеалист, романтик, люди часто казались ему лучше, чем они были на самом деле. Об одном отъявленном мерзавце он сказал: «Странный человек...». Конечно, после 7 лет тюрем и лагерей «недопризнание», «недопонимание», «недооценка» и все другие «недо...» должны были казаться ему мелочами, недостойными не только внимания, но и даже упоминания. Старая истина: все познается в сравнении.

В научной среде (как, впрочем, и во многих других) развиты зависть к чужому успеху, ревность к чужим достижениям. Зильбер, блестящий лектор, блестящий экспериментатор, весельчак и душа компании, верный друг — разве этого недостаточно для тайной и явной зависти, которая нередко переходит в ненависть. Всего этого хватало в жизни Льва Александровича, но не лишило его оптимизма, человеколюбия и способности радоваться жизни. Занимаясь всю жизнь иммунологией, он приобрел невосприимчивость к человеческим слабостям и порокам.

Ноябрь 1988 г. — февраль 1996 г. — октябрь 2003 г.

«Я — ПЛЮРАЛИСТ...»

(Наш собеседник — профессор Лорен Грэхэм)

Читателям нашего журнала профессора Лорена Грэхэма представлять не надо. С 1996 г. он является членом международного редакционного совета. Он автор нескольких весьма примечательных публикаций на страницах «Вопросов истории естествознания и техники»¹. Многократные визиты Л. Грэхэма в нашу страну, по крайней мере с 90-х гг. прошлого столетия, отражаются либо в хронике важных событий профессиональной жизни, либо находят выражение в виде публикаций — всегда новаторских, содержательных и поучительных.

Труды Л. Грэхэма занимают совершенно особое место в историографии истории науки в России. Почти полвека он пристально изучает интеллектуальную историю нашей страны, скрупулезно собирая факты, выстраивая их в логические связи, ставя важнейшие вопросы о характере и специфике научно-технического развития России и отвечая на них с такой степенью полноты и убедительности, которой до сих пор мало кто достигал. Этот ученый по праву занимает одно из главных мест в социальной истории науки в России.

И у нас, и за рубежом немало замечательных специалистов по истории науки в России, авторов крупных исследований. Однако почти все, даже самые обширные, труды посвящены дисциплинарной истории науки либо изучению отдельных проблем, включая и такие глобальные, как атомный или космический проекты в СССР и т.д. Творчество Л. Грэхэма на этом фоне отличается и глубиной, и, главное, широтой охвата. Историк науки Лорен Грэхэм в своей работе сочетает практически безупречную фактографичность с исключительной широтой контекстуального анализа, традиционализм классического историко-научного анализа и глубоко новаторские формулировки исследовательских программ.

Его книги² читаются, собранные в них данные и интерпретации активно используются, в том числе в учебном процессе, с его выводами соглашаются либо оспаривают их, считая, например, что есть темы и сюжеты, разработка которых недоступна для человека иной культурно-языковой традиции, по своему происхождению не являющегося носителем так называемого специфического менталитета.

Жизнь ученого, ее «видимая» часть представлена в его книгах, статьях, докладах, в работах учеников и продолжателей. Заглянуть во внутренний мир ученого, узнать об обстоятельствах его личной жизни, зачастую оказывавших решающее влияние на его формирование как исследователя, можно с помощью весьма ограниченных средств — изучая его дневники, мемуары, письма (разумеется, если они существовали и сохранились) — вот, пожалуй, и все. В послед-

¹ Грэхэм Л. Социально-политический контекст доклада Б. М. Гессена о Ньюtone // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 2. С. 19–31; Он же. Устойчива ли наука к стрессу? // Вопросы истории естествознания и техники. 1998. № 4. С. 3–17.

² На русском языке изданы следующие книги Л. Грэхэма: Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М.: Политиздат, 1991; Очерки истории российской и советской науки. М.: Янус-К, 1998; Призрак казенного инженера: технология и падение Советского Союза. СПб.: Европейский Дом, 2000.